

Елисаветград

Мне было 15 лет, когда я пришел экзаменоваться в малярную школу имени богача Фирсова, ее основателя.

Мне хорошо памятен этот день. Было туманное розовое утро. Матовое, точно марлей затянутое солнце, голубые дымки над сонными еще, сутулыми домишками, спешащий на службу и базар народ и бодрящий аромат умирающего лета. В такое утро мне и экзамены рисовались розовыми и легкими. И с сердцем, полным радости, я легко взобрался на горку, где находилась школа.

Руководитель школы маляр Глинянный — человек добрый с робкими темно коричневыми застенчивыми глазами, сухим лицом и нахмуренным низким лбом, навевавшим воспоминания о ноябрьском степном небе, встретил меня неприветливо.

— Где вы раньше учились? — угрюмо спросил он меня, внимательно разглядывая свои большие грязные ногти.

— Во втором казенном, — робко ответил я.

— Вас... что же вытурили оттуда?

— Нет, я ее окончил.

— Ага. Ага-а-а. А краски и кисти у вас есть?

— Нет, я куплю.

— Ну, добре. Берите пока казенное добро. Только помните: не очень рыпайтесь... и дурака не валяйте.

И после паузы добавил:

— Не стройте из себя таланта и не думайте, что художником заделаетесь за две недели.

Он смачно, с достоинством сплюнул, неспешно растер ногой и как-то особенно музыкально крикнул. Затем подал мне небольшой лист плотной бумаги и палочку угля:

— Берите и садитесь.

Я сел. Измазанные "пробами тона", как в малярных мастерских, стены, загрунтованные мелом холсты и жестяные вывески, старенькие выцветшие олеографии и три-четыре больших полотна — беспомощные копии с картин Айвазовского и Шишкина. На двух сосновых мольбертах, стара-

* Орфография и синтаксис оригинала сохранены. (О. Т.)

тельно измазанных грязными красками, стояли неоконченные работы. Натюрморт — разрезанный на две неравные части пунцовый арбуз с маленькими миндалевидными черными косточками, два ярко изумрудных персика и один тяжелый черно-лиловый баклажан. Все это было сложено под не совсем чистым полотенцем, щедро расшитым пестрым украинским узором. Пахло вареной олифой, столярным клеем и гуашью. Я жадно разглядывал мольберты, палитры со спектрально расположенными красками, пестрые копии с известных художников, олеографии. Я с наслаждением вбирал в себя все запахи, вызвавшие мое глубокое уважение к школе и ее руководителю.

С большим волнением я начал рисовать натюрморт. Воля меня покинула. Я ждал неудачи. Уголь плохо приставал к бумаге, резинка не счищала, а пачкала, линии контура мне показались расслабленными, неуверенными. Я чувствовал, что проваливаюсь.

— Ну, что же, приходите завтра с кистями и бумагой, — услышал я позади себя хриплый, придавленный голос.

Я оглянулся. В светившихся небольших глазах Глинянного я прочел одобрение и дружбу. Мною овладело состояние, похожее на счастье. Розовое радостное утро не обмануло меня.

Через неделю я уже писал копии с "Лунной ночи" Айвазовского, грунтовал жезь для вывесок и изучал несложное малярное дело. Надо признать, что Глинянный своей педагогикой нас особенно не утомлял. Учеба не блистала сложными методическими принципами. Обычно занятия происходили так: Глинянный давал ученику кусок полотна или бумаги, кисти, палитру с выдавленными на нее акварельными или масляными красками, потом брал ученика за рукав, подводил к поставленному на стол натюрморту и сухо, небрежно говорил:

— Намалуйте вот это.

И все. Конечно, ученик, если он плохо знал ремесло, должен был себя чувствовать как человек, которого, чтобы научить плавать, бросают в глубоководную реку. Талант есть — выплывешь. Ко дну пойдешь, не удержавшись на поверхности — значит прослывешь бесталанным.

Живопись и акварель у нас считались лакомыми блюдами. Этим мы имели право заниматься после основных занятий, т. е. после занятий по изучению малярного, вывесочного и альфрейного дела**. Разумеется, мы все делали, чтобы увильнуть от этих занятий.

** Декоративная отделка интерьеров.

Глинянный аккуратно воевал с нами:

— Раньше вывески и окна, черти окаянные, а потом пейзажи и портреты, — с улыбающимся лицом говорил он, — вы, как и я, с удовольствием бы взялись за картины, но это отвлекает от учебы.

Порой, когда его упрямство ему самому надоедало и воевать с нами ему казалось слишком утомительным, он сдавался:

— Ну, черт с вами. Малюйте картины.

Несомненно, он сам любил живопись, хотя ясно не понимал, в чем она заключается. Он не знал, чем он может помочь, хотя готов был это сделать. Особенно он любил атмосферу творчества. Ему нравилось готовить натюрморты: ходить на рынок, покупать яркие ароматные яблоки, груши, дыни и арбузы, потом раскладывать их в "живописном беспорядке" и наблюдать, как нестриженные молодые ребята их малюют.

Как-то раз я к нему пристал:

— Аксентий Родионович, скажите, какие правила существуют для того, чтобы научиться хорошо писать картины?

Он почесал свое хмурое небритое лицо, прищурил темно-коричневые глаза, показав еле уловимую улыбку:

— Пишите так, как в природе. Вот. И вы станете настоящими художниками. Чтобы рукой можно было взять. Поняли. Вот вам все правила.

И мы стремились написать так, "чтобы рукой можно было взять".

Ровно через год я сдал экзамен на звание живописца вывесок. Экзаменовавшийся должен был зашпаклевать и загрунтовать лист жести, набитый на подрамник, и написать по выбору (такие существовали в школе традиции) сценку бритья или франта из модного журнала.

Сценка бритья изображалась так: в богатом кресле непринужденно, как подобает шикарному аристократу, сидел красавец брюнет, изящно обвязанный белоснежной простыней. Над ним — почтительно склоненный элегантный парикмахер, в грациозных руках которого блистала бритва. Слева от фигур — дорогое зеркало и шкафчик, встречаемые только в домах купцов первой гильдии.

Изображение франта требовало не меньшего творческого напряжения. Надо было дать тип модника-иностранца. Обычно ученики эту проблему решали по шаблону, выработанному самим Глинянным. Американского покроя темно-серый костюм и приделанная к нему голова красавца-шатена в высоком черном цилиндре, яркие желтые перчатки и изящная трость. Франт изображался в профиль на фоне роскошного парка.

Я остановился на фронте. Через три дня вывеска была готова. Осмотрев мою работу, Глинянный ухмыльнулся и ехидно сказал:

— Вам, Нюренберг, будут больше удаваться портреты старьевщиков и раввинов.

В поисках работы я ходил по мастерским живописцев вывесок. Однажды я узнал, что инженеру Гольденбергу, любителю живописи и музыки, нужен живописец вывесок. Говоривший это тут же добавил, что "нужен работник первого сорта, с золотыми руками". Оглядев свои руки и придя к невеселому выводу, я все-таки решил испытать судьбу и отправиться к инженеру Гольденбергу.

Отец мой посоветовал мне одеться женихом и привести в полный порядок мои праздничные штаны, одеть черную суконную тужурку, сшитую одесским портным Гершале Спиваком, и начистить ваксой свои штiblеты "так, чтобы вся улица в них отражалась".

Инженер Гольденберг меня принял в кабинете, похожем на магазин случайных вещей. В его круглой и мягкой руке лежал массивный серебряный портсигар, усеянный золотыми монограммами, на носу блестело золотое пенсне, во рту сигаретка.

— Вы искали опытного живописца вывесок? — робко спросил я.

— Да, именно опытного, — ответил он, нажимая на слово "опытного". Голос у него был мягкий.

— Я верю, что Вы меня за работу ругать не будете, — нерешительно сказал я.

— У вас есть образцы вашей работы?

Я подал ему картонную папку с моими акварелями и рисунками. Это были копии с открыток и олеографий, висевших у нас дома. Помню среди акварелей копию с гравюры, украшавшей нашу залу. Это была сцена из голландской жизни. С тех пор у меня осталась любовь к голландским серым зимним пейзажам.

Он внимательно рассмотрел все мои работы и с чувством, свидетельствующим о его любви к живописи, внушительно сказал:

— Что же, человек вы способный... Я думаю, что вы мне фасад не испортите. Хорошо. Беритесь за работу. В добрый час.

Я разглядел его. Небольшая лысина, умные убеждающие глаза и доброжелательные семитские губы. Некоторые болезненность и усталость, заметные в его движениях, придавали ему оттенок печали. Не знаю почему, но в этот момент я решил, что он должен стать моим меценатом.

Сумма, предложенная им, показалась мне головокружительной. Пряча свое радостное волнение, я долго собирал и складывал свои работы. Он дружественно протянул мне свою круглую руку.

Я приступил к "фасаду". Надо было написать четыре сложных машины, тонко вырисовав все детали и гайки, и около 120 букв различного стиля и размера. Первая машина (нефтяной двигатель) в серо-черных и зеленых тонах была готова через три дня. Работал я с увлечением и любовью.

Инженер Гольденберг приходил в мастерскую, устроенную в магазинном складе, ежедневно. И, усевшись позади меня, долго смотрел, как я работаю, курил короткие светло-шоколадные сигаретки и давал указания:

— Машина, мой юный друг, любит точность. Это вам не пейзаж. Гаечку пропустите, и работа уже не та, не годится.

Вывески писал я долго, месяц, а может и дольше. Порой мой работодатель (когда коммерческие операции ему не удавались и жена хворала) был похож на осеннюю тучу, отраженную в нашей мутной речке Ингул. Тогда он меня иронически называл "маэстро":

— Знаете, маэстро, — насмешливо начинал он, — ваш нефтяной двигатель мне напоминает опрокинутый старый биндюг. Ой, боюсь вы задропаете весь фасад лучшей в Елисаветграде технической конторы.

Нужно ли рассказывать, как на меня такие слова действовали?

Но такие нерадостные дни тянулись недолго. Гольденберг долго не мог дружить с печалью, и скоро его губы и глаза опять всем улыбались.

— Вы молодец! Я недаром почувствовал в вас тонкого художника. Вам обязательно необходимо поехать в Одессу. Там вы скоро сделаетесь человеком. В этой дыре таланту нечего делать.

И я, убаюкиваемый этой сладкой лестью, незаметно для себя отрываясь от работы, живо рисовал себе далекую сказочную Одессу, где можно скоро сделаться человеком. Одесса мне казалась городом, равным Нью-Йорку, Парижу. В возбужденном горячем мозгу рождались фантастические образы длиннейших улиц и небоскребов. По асфальтированным улицам неслись толпы спешащих, хорошо одетых, тщательно умытых и выбритых счастливых людей. У каждого из них в руках обязательно желтые перчатки и изящная трость. Над ними ярчайшее солнце, но они так счастливы, что им даже лень, а может, некогда глядеть на него. Пусть себе, мол, сияет!

Как-то раз после обеда вернувшись в мастерскую, я нашел моего заказчика озабоченным и чуть взволнованным. "Опять неудачная операция", — подумал я.

— Ну, юный друг, в ближайшие дни кончайте вашу работу. Ваше дело в шляпе. Радуйтесь — вы едете в Одессу.

Я почувствовал, как у меня поднимается температура. Я онемел.

— Да, вы едете в Одессу и будете учиться в Художественной школе. Ваши рисунки видел один богатый немец. Они ему очень понравились. Он даже купил одну акварель и уплатил пять рублей. Вот они.

На розовой ладони блистала, точно кусочек солнца, золотая монета. Одесса стала мне близкой... Я еду учиться... Температура все повышалась. Кровь зазвенела в ушах.

Кто был этот первый коллекционер, заинтересовавшийся моей судьбой? Зачем я ему понадобился? Я бросился домой.

Отец первым делом потребовал, чтобы я свой золотой спрятал на счастье или приобрел на все пять рублей выигрышных заграничных билетов:

— Чем черт не шутит, — говорил он, как обычно ковыряя спичкой в ухе в моменты волнения, — вдруг мы все разбогатеем, и тебе, сынок, не придется писать вывески. Ты сможешь сдать экстерном за восемь классов гимназии и потом поступить в университет. Выйти в люди. Все может случиться.

Но мать, не зная тяжелого плена тщеславия, ему убеждающе отвечала:

— Чего ты пристал к мальчику? Не понимаю. Нашелся человек, который хочет помочь ему достигнуть цели — и пусть. Пусть он едет в Одессу. Счастливого пути!

Вечером за ворчливым шарообразным самоваром на семейном совете было решено, что я должен непременно ехать в Одессу.

Сестры бережно упаковали мои вещи. Их нежная заботливость и любовь ко мне не могли прикрыть нищету, выглядывавшую из всех щелей моей небольшой старенькой корзины. И, после недолгих размышлений, я решил обшить ее мешковиной. Подушка, солдатское одеяло неуловимого цвета гнилой свеклы и короткое зимнее пальто на бумажной рыжей подкладке.

Пышные проходы носили трогательный характер. Отец, мать, сестры, пес Жук и золотистый закат. Незабываемый осенний закат, пришедший с облаками, полными радости и веры в мои одесские дела.

— Ну, Амшей, будь трудолюбив. Помни, сын, — начал отец иронически, — что родители у тебя ни в каком родстве с Ротшильдом не состоят и что у Когана в банке я пока что кредитом не пользуюсь. А потому учись и не трать время на глупости. Если этот немец-чудак действительно тебе будет помогать — то это редкое посланное самим Богом счастье!

Во влажных глазах сестер и матери сверкала радостная печаль. Звонки. На ярко светящемся циферблате две упавшие вниз жирные стрелки. Грохот окутанного паром добродушного паровоза.

— Не забудь печенья, оно в газете.

Меня обнимают. Я на площадке ярко зеленого новенького еще пахнущего машинной краской вагона. Последним прощается закат. Когда вагон, скрипя, медленно отошел от того места, где стояли близкие мне люди, и я взглянул на зарево, мне показалось, что все небо облито керосином и горит. Мне даже почудилось, что я чувствую запах гари. Но через несколько минут голубо-оранжевое пламя погасло. Облака потемнели, посерели, и город, только что казавшийся мне выкованным из червонного золота, потускнел и почернел. Я не ожидал таких торжественных и смутивших меня чувств.

Одесса. Осень 1904 г.

Я поселился на Польском спуске, 12, в большой прокопченной дымом и временем комнате. В ней, как во всех одесских комнатах, сдававшихся в наем, всегда пахло несвежим бельем и жареным луком. Из окна, уставленного геранью и бутылками, был виден порт с уходившими и приходившими иностранными пароходами. Можно было ежедневно глядеть на море с кораблями. Это меня соблазнило, и я внес задаток. Условие — за полный пансион 10 рублей в месяц. Платить будет мой протектор немец Беренс.

Живу и знакомлюсь с моими соседями. Латыш Эд. Высокий, жилистый человек с почти квадратным сухим лицом. Пасмурный, неразговорчивый. Как потом выяснилось — человек совершенно неуловимых дел и таинственных профессий. Он исчезал рано, чуть свет, и возвращался вечером. Придя домой, он тщательно и глубокомысленно осматривал свою изношенную обувь, потом долго и как-то солидно мыл свои потные ноги, причесывался, ковырял зубочисткой в зубах и, наконец, когда он от всех этих процедур уставал — ложился на старый косолапый диван, служивший ему кроватью, и читал скучнейшие книги — приложения к журналу "Родина". Питал он неисчерпаемую нежность к длинным любовным письмам и в дневные часы, когда нас не было, с увлечением их писал на кремовой бумаге.

Когда его спрашивали: "Эд, где ты пропадаешь?" — он спокойно отвечал: "В порту работаю, брат". Но никто из нас ему не верил.